

УДК 821.161.1-94

Подлубнова Ю.С.,
кандидат філологічних наук,
Уральський державний
технічний університет

ЕКАТЕРИНБУРГ–СВЕРДЛОВСК В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 1920-Х ГГ.²⁰

Современная гуманитарная наука переживает новый виток развития краеведческой мысли. “Регионализм и регионализация сегодня выступают как ответ на процессы глобализации, пронизывающие мировую экономику и культуру <...>, как, порой довольно болезненное, реагирование провинции на стирание границ и унификацию социокультурного, национально-этнического и аксиологического пространства...” [13, 7], – замечает Е.К. Созина. Вслед за топоровским “петербургским текстом” в научный обиход вошел целый массив “локальных текстов”, репрезентирующих отдельные регионы и населенные пункты [9; 5]. Урал в этом плане не стал исключением: в региональном литературоведении и теперь уже за его пределами широко стали употребляться понятия “уральского текста” (Е.К. Созина), “пермского текста” (В.В. Абашев, М.П. Абашева, Е.Г. Власова), “челябинского текста” (Е.В. Милюкова), “оренбургского текста” (В.Ю. Прокофьева). “Свердловский” или “екатеринбургский текст” (Е.К. Созина) тоже существует, хотя многие исследователи предпочитают говорить об “образе города”, “теме города”, “мифах города” и т.д. (М.А. Литовская, Ю.В. Клочкова, Е.Г. Соболева, Е.В. Харитоновна).

Несмотря на то, что геопозитическая модель Екатеринбурга-Свердловска и ее репрезентации в художественной литературе уже описаны [6; 3], в известных нам работах наблюдается некоторая историко-литературная фрагментарность, сосредоточенность на одних и тех же, безусловно значимых для литературного процесса, именах и текстах (преимущественно Д.Н. Мамина-Сибиряка, П.П. Бажова, Б. Рыжего, О. Славниковой, И. Сахновского, В. Исхакова и др. [11; 1; 7; 15]). Можно констатировать, что наиболее изученными периодами в становлении образа Екатеринбурга-Свердловска в XX в. являются 1900–1910-ые гг., время расцвета городского фельетона, период Великой Отечественной войны, когда Свердловск принял писателей, эвакуированных из Москвы и Ленинграда, а также современность, когда уральские авторы органично вписались в общероссийский литературный процесс.

При этом важной эпохой в процессе развития геопозитической модели города являются 1920-ые гг. После революции Екатеринбург смог претворить в жизнь свои давние амбиции на столичность в рамках региона. Город изначально, еще с момента своего основания в XVIII в., позиционировался как “горнозаводская

²⁰ Исследование подготовлено в рамках проекта “Традиции отечественной словесности в региональной проекции”, получившего поддержку фонда РФНФ “Урал” (грант № 09-04-83404 а/У).

столиця”, однако долгое время оставался уездным пунктом, подчиненным губернскому городу Перми. В 1923 г. Екатеринбург стал центром огромной по своей территории Уральской области (куда вошли нынешние Свердловская, Челябинская, Курганская, Тюменская области, Пермский край, часть Удмуртии), полноценной столицей региона. Новый статус города потребовал закрепления его на культурном уровне. Именно в 1920-ые гг. активизировалось развитие того массива мифов или, если прибегнуть к другой терминологии, брендов города, который является репрезентативным по сей день. Это нашло прямое отражение в литературе, причем не только региональной, но и общероссийской.

Одной из основных мифологем Екатеринбурга с самого основания стало пограничное положение между Европой и Азией. Если подойти географически, то граница Европы/Азии проходит вдоль хребта Уральских гор, а Екатеринбург находится восточнее хребта, то есть непосредственно в Азии. Однако город имеет все черты европейского города: одним из его основателей был Г.В. де Геннин, немец (по другим источникам – голландец) по происхождению; город получил название, оканчивающееся на “бург” (с нем. “крепость”) и до революции был полон европейцами, которые обустроивали его на свой вкус. Идентификация Екатеринбурга как медиатора между Европой и Азией, таким образом, оказалась более чем оправданной.

В 1920-ые гг. она прочно вошла в художественную литературу. Так, по сюжету повести Б. Пастернака “Детство Люверс” (1918, опублик. 1922) Женя Люверс, родившаяся и проведшая детство в Перми, городе однозначно европейском, переезжает с семьей в Екатеринбург. В поезде она с напряжением ждет пограничного столба “Европа / Азия”, связывая пересечение границы Азии с началом новой жизни, полной чудес. “В очарованной ее голове “граница Азии” встала в виде фантазмагорического какого-то рубежа <...>. Она ждала этого столба, как поднятия занавеса над первым актом географической трагедии, о которой слышались сказки от видевших, торжественно волнуясь тем, что и она попала и вот скоро увидит сама. <...> Женя досадовала на скучную, пыльную Европу, мешкотно отдалявшую наступление чуда” [12, 48]. Однако чуда не произошло: Екатеринбург, в котором обосновались Люверсы, оказался другим, чем Пермь, но отнюдь не Азией, хотя азиатское начало здесь присутствовало: “Тротуары здесь были какие-то не то мраморные, не то алебастровые, с волнистым белым гляцем. Плиты и в тени слепили, как ледяные солнца, жадно поглощая тени нарядных деревьев, которые растекались, на них растопясь и разжидившись. Здесь совсем по-иному выходилось на улицу, которая была широка и светла, с насаждениями. <...>

– Как в Париже, – повторяла Женя вслед за отцом” [12, 49].

Таким образом, понятийная связка “Екатеринбург – Азия” оказалась актуальной лишь в представлении Жени, с которым она долго не хотела расставаться. Граница, которую она пересекла в поезде, была не столько

географической, сколько границей между двумя веками ее жизни: детством и юностью [14, 106].

Пограничность положения Екатеринбурга явлена и в рассказах “25-го июля 1918 года”, “Шесть дней”, “Трава-пышма” одного из “Серрапионовых братьев”, ленинградского писателя Н.Н. Никитина, который в составе Красной армии воевал на Урале и хорошо знал город – его рассказы насыщены екатеринбургской топонимикой. “Город – золотой пыльный котел. Песок садится в горло. С непривычки оно болит. В зное плавает ветер, плавает тихо – как шмель над прудом. А пруд – что идет от плотины и зовется Исетским, сверкает кусками – рыбы полощутся в нем, перевертываясь от радости животами вверх, к солнцу” [10, 9] – в начальном фрагменте рассказа “25-го июля 1918 года” представлены важные геопозитические знаки Екатеринбурга: июльская жара, золотой цвет, преобладающий в летней гамме, сквозь который семантически “мерцает” драгоценный металл, добываемый в городе, клубы пыли. Пыль – деталь семантически нагруженная, поскольку именно пыль маркирует азиатское местоположение Екатеринбурга: “И на чугуне решетки, что выходит на воду пруда – пыль, и на губах рабочих караулов, где губы как из чугуна, тоже пыль. Эта пыль мелкой лентой бьется за колесами обозов. <...> Проклятое солнце льет звонкое, тягучее, как слизь, и тяжелое золото на дома, но дома – многие в ставнях, туго закрыты двери. Город закупорен этими домами. <...> Еще серее ложится пыль на губы” [10, 10]. На эту “среднеазиатскую” пыль будет досадовать и Б. Пастернак, который в очередной раз побывает в городе в 1932 г.: “Тут отвратительный континентальный климат с резкими переходами от сильного холода к страшной жаре и дикая гомерическая пыль среднеазиатского города, все время перемещаемого и исковыренного многочисленными стройками. Самумы эти неопишутемы” [2, 428].

“Азиатский” Екатеринбург полон китайцами – как описывает Пастернак в “Детстве Люверс”, грязными “странными фигурками в женских кофтах” [12, 58], с бледными, землистыми лицами. В рассказе Н. Никитина китаец Лю-И-Сан, дурно пахнущий и варящий суп из мышей, помогает главному герою, красному партизану Антону Черняку, спастись от колчаковцев.

Китайцы не относятся к городской элите, они – маргиналы, вызывающие к себе, в основной массе, презрение. Истинная элита города – европейцы. У Пастернака это бельгийцы, участвующие в уральских концессиях и курирующие заводы, у Никитина – интервенты, пришедшие в город вместе с Колчаком чехи, французы, итальянцы. Город радушно принимает этих иностранцев, они приживаются здесь как свои. Так, Артемида Васильевна, жена владельца золотых приисков Антоновского, отдается чешскому офицеру Карасику, ее юные дочери – французам из штаба армии, а простые шарташские бабы, отправившиеся за ягодами в лес, помнят “серых чехов”, которые “томили их сладостью” в кустах.

Действие в рассказах Н. Никитина происходит во время гражданской войны. Для Екатеринбурга это время возникновения одного из самых популярных и

загадочных мифов, поскольку именно здесь в подвале особняка инженера Ипатьева в июле 1918 г. были расстреляны Николай II и его Семья. У Н. Никитина это событие упоминается вскользь, однако сам дом Ипатьева приобретает значение грозного символа. В рассказе “25-го июля 1918 года” колчаковцы входят в отставленный красными город. Последние, кто обороняется, это матросы, засевшие в Харитоновском доме, также знаменитом своими многочисленными тайнами, в частности, тайным подземным ходом²¹. Писатель сталкивает два дома: по красному Харитоновскому дому начинает стрелять пулемет из белого особняка Ипатьева. И матросов начисто сметают, как бы мстя за пролитую несколькими днями ранее царскую кровь. “Матросов ловили в этажах, в тайничках, в антресолях. Некоторые из них судорожно забились в подвалы, может быть, разыскивая там тот самый подземный ход, о котором говорили поверья. Земля не пустила – и они кончили с собой, вставляя дуло винтовки в рот и нажимая на курок ногой. И стало в этом доме, построенном на народном поте, костях и крови, еще больше смерти и крови...” [10, 17].

Ипатьевский особняк в произведениях других писателей также фигурирует не сам по себе, а в связи с последними месяцами жизни Царской Семьи. Вот как описывается этот дом в романе-эпопее “От Двуглавого Орла к красному знамени” (1922) П.Н. Краснова, белого генерала, ставшего в эмиграции писателем: “В Екатеринбурге Государя поместили в доме Ипатьева. Это небольшой каменный дом в два этажа. Нижний этаж подвальный и окна с решетками. Государь с Императрицей и августейшая семья помещались в верхнем этаже. Одну комнату занимали великие княжны, две – Государь с Императрицей и Наследником <...> Команда охраны из местных екатеринбургских рабочих помещалась внизу. Это были люди грубые, вечно пьяные и натравленные на Государя. Они делали все, чтобы сделать жизнь Государя и великих княжон невозможной. Днем и ночью они наполняли комнаты Царской Семьи, пели циничные песни, курили, плевали куда попало и грубо ругались в присутствии Государя и детей” [4, 362].

Дочь главного героя романа князя Саблина вместе с группой молодых аристократов едет за Царской Семьей в Сибирь, дабы попытаться вызволить пленников из рук большевиков. В письме к отцу она описывает особняк и сцену казни Семьи: “Когда убивали их, была низкая смрадная комната, тускло освещенная лампой, был притаившийся в горах спящий город. Их тела, говорят, рубили на части и жгли в бензине и обливали серной кислотой” [4, 365].

Из приведенных фрагментов романа видно, что П. Краснов при описании дома и трагических событий, опирался на исторические документы, иной эмпирической основы у него не было. Как и многие эмигранты, оставившие воспоминания и исторические исследования о Семье, он акцентировал мученические моменты их жизни и смерти в городе.

²¹ Тайны Харитоновского дома вошли в русскую литературу благодаря роману “Приваловские миллионы” (1883) Д.Н. Мамина-Сибиряка и рассказу “Харитоновское золото” (1911) А.Н. Толстого.

Иные акценты делали обращавшиеся к этой теме советские авторы. Так, в 1928 г. в Свердловске побывал В. Маяковский. Он посетил место захоронения Семьи на 9-м км. Московского тракта и написал в стихотворение “Император”, которое, вполне в духе данного поэта, было сатирическим по отношению к расстрелянному царю. Царь и его семейство, в понимании Маяковского, заслужили свою участь: расстрел стал расплатой династии Романовых за вековые преступления перед народом. “За Исетью,/ где шахты и кручи,/ за Исетью,/ где ветер свистел,/ приумолк / исполкомовский кучер / и встал / на девятой версте” [8, 180]. И далее: “Прельщают / многих / короны лучи./ Пожалте,/ дворяне и шляхта,/ корону / можно / у нас получить,/ но только / вместе с шахтой” [8, 181].

И П. Краснова, и Маяковского, и ряд других неуральских авторов объединяло одно – их интересовала судьба Царской семьи и мало интересовал город, который они фактически не знали.

Однако с приездом Маяковского связан ключевой для советского города литературный эпизод. Увидевший многочисленные свердловские стройки (даже пыль радовала поэта!), Маяковский написал стихотворение “Екатеринбург-Свердловск”, которое спроектировало обновленный взгляд на город [3]. Как увидел поэт, у города нет настоящего, есть только прошлое – от Екатерины до времени, когда загорелся “в свердловском небе красный флажок” [8, 178], и есть будущее – советского “работника и воина”. Екатеринбург умер, его история закончилась, но родился Свердловск, совершенно новый, индустриальный город: “У этого / города / нету традиций,/ бульвара,/ дворца,/ фонтана и неги./ У нас / на глазах / городище родится / из воли / Урала,/ труда / и энергии!” [8, 178–179]. Таким образом, Маяковский предложил отказаться от груза прошлой городской мифологии, которая, в его понимании, в эпоху сталинской индустриализации перестала быть актуальной, и принять единственный миф о Свердловске как о городе-стройке, городе-заводе, миф, который вслед за Маяковским будет успешно эксплуатироваться и в риторике, и в литературе всю советскую эпоху.

Мифы Екатеринбурга-Свердловска, нашедшие отражение в русской литературе 1920-х гг., без сомнения, в своей совокупности работали на создание монолита городской мифологии, городского текста. Они придавали молодому на фоне ряда других российских городов Екатеринбургу-Свердловску исключительность, в значительной мере формировали его индивидуальность. То, что к этим мифам в 1920-ые гг. обратились столичные авторы (а Маяковский и Пастернак, например, в это время уже были широко известны в стране и за рубежом), то, что мифы вышли за пределы региона, весьма показательно – город перестал быть уездной провинцией, он активно включился в мифотворчество эпохи.

Литература

1. Бучельникова Л. А., Литовская М. А. Екатеринбург-Свердловск как биографическое пространство в творчестве писателей XXI века / Л. А. Бучельникова, М. А. Литовская // Культура Урала в XVI–XXI вв. : исторический опыт и современность. – Екатеринбург : Банк культурной информации, 2008. – Кн. 2. – С. 337–341.

2. Быков Д. Л. Борис Пастернак / Д. Л. Быков. – М. : Молодая гвардия, 2007.
3. Клочкова Ю. В. Образ Екатеринбурга/Свердловска в русской литературе (XVIII – середина XX вв.) : дис. ... канд. филол. наук / Ю. В. Клочкова. – Екатеринбург, 2006.
4. Краснов П. Н. От Двуглавого орла к красному знамени / П. Н. Краснов. – М. : Айрис-пресс, 2005. – Кн. 2.
5. Литература Урала : история и современность : Локальные тексты и типы региональных нарративов / отв. ред. Е. К. Созина. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2008. – Вып. 4.
6. Литовская М. А. Авторская реструктуризация мифологии места : бажовский Екатеринбург / М. А. Литовская // Дергачевские чтения – 2004 : Русская литература : национальное развитие и региональные особенности. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2006. – С. 449–454.
7. Литовская М. А. Тема города как самооправдания биографического автора в современной прозе Урала / М. А. Литовская // Литература Урала : история и современность : Локальные тексты и типы региональных нарративов. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2008. – С. 196–203. – Вып. 4.
8. Маяковский В. В. Избранные произведения / В. В. Маяковский. – М. : Детгиз, 1956.
9. Меднис Н. Е. Сверхтексты в русской литературе / Н. Е. Меднис. – Новосибирск : НГПУ, 2003.
10. Никитин Н. Н. Бунт / Н. Н. Никитин. – М.–Пг. : Круг, 1923.
11. Онуфриева Н. И. “Сказочный Свердловск” Бориса Рыжего / Н. И. Онуфриева // Литература Урала : история и современность : Локальные тексты и типы региональных нарративов. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2008. – Вып. 4. – С. 188–195.
12. Пастернак Б. Л. Собр. соч. в 5 т. / Б. Л. Пастернак. – М. : Художественная литература, 1991. – Т. 4.
13. Созина Е. К. Об “Истории литературы Урала” : предисловие к проекту / Е. К. Созина // Литература Урала : история и современность. – Екатеринбург : УрО РАН ; ОМПУ ; Изд-во АМБ, 2006. – С. 7–17.
14. Фарыно Е. Мифопоэтичность пастернаковских локусов : откуда и как туда попадают и как и куда оттуда выбираются / Е. Фарыно // “Любовь пространства...” : Поэтика места в творчестве Бориса Пастернака. – М. : Языки славянской культуры, 2008. – С. 105–110.
15. Харитонова Е. В. Образ Екатеринбурга в прозе С. Пётрова / Е. В. Харитонова // Литература Урала : история и современность. – Екатеринбург : УрО РАН ; ИД “Союз писателей”, 2006. – Вып. 2.– С. 88–95.

Аннотация

Статья посвящена образу Екатеринбурга-Свердловска в русской литературе 1920-х гг. (на примере творчества Б. Пастернака, Н. Никитина, П. Краснова, В. Маяковского). В ней рассматриваются мифы города (миф о границе Европы / Азии, миф о Царской Семье, миф о городе-заводе, городе-стройке), которые в значительной мере сформировали его индивидуальность.

Ключевые слова: локальные тексты, Екатеринбург, Свердловск, русская литература 1920-х гг.

Анотація

Стаття присвячена образу Єкатеринбурга-Свердловська в російській літературі 1920-х рр. (на прикладі творчості Б. Пастернака, М. Никитіна, П. Краснова, В. Маяковського). У ній розглядаються міфи міста (міф про кордон Європи / Азії, міф про Царську Сім'ю, міф про місто-завод, місто-будівництво), які в значній мірі сформувавши його індивідуальність.

Ключові слова: локальні тексти, Єкатеринбург, Свердловськ, російська література 1920-х рр.

Summary

The article is devoted to an image of Ekaterinburg-Sverdlovsk in the Russian literature of 1920th years (in works by B. Pasternak, N. Nikitin, P. Krasnov, V. Mayakovsky). There are main myths of city considered (a myth of the border of the Europe/Asia, a myth of Imperial Family, a myth of city-factory, of city-construction).

Keywords: local texts, Ekaterinburg, Sverdlovsk, the Russian literature of 1920th years.

УДК 821.134.2(8)

Pérez V.V.,

Doctora en Ciencias del Lenguaje,
Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades,
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

EL LENGUAJE DE LA MEMORIA EN CASANDRA DE CHRISTA WOLF

Publicada por primera vez en 1983, la novela *Casandra* de Christa Wolf cuenta la historia de la famosa profetisa troyana. A través de la narración en primera persona, la hija del rey Príamo narra su versión de la mítica guerra de Troya. Tras la caída de su ciudad natal, Casandra es llevada a Micenas como prisionera de Agamenón; allí, su esposa Clitemnestra, mata primero a su marido y después a su nueva esclava. Poco antes de su muerte –una muerte que conoce, pero no puede prevenir – la adivina rememora los acontecimientos que la han llevado hasta su destino.

Entre otros aspectos, la novela llama la atención sobre su acto rememorativo, cuya peculiaridad consiste en imponer un orden en el pasado de lo contado que no es de la cronología “histórica” ni de la lógica aristotélica, pero sí posee una lógica subjetiva, propia de un *logos* rememorante, con su particular fuerza expresiva. Para el estudio de este lenguaje de memoria usaremos el modelo analítico propuesto por Dorrit Cohn en *Transparent Minds: Narrative Modes for Presenting Consciousness in Fiction* (1978). Se trata de un estudio tipológico de los modos narrativos para presentar la conciencia en la ficción. A pesar de que el criterio utilizado es meramente lingüístico, esto es, las diferencias entre las formas gramaticales verbales, tales como tiempo y persona, la discusión es más bien literaria que lingüística puesto que atiende los aspectos estilísticos y contextuales del discurso literario. Por otro lado, el concepto de conciencia se entiende en términos literarios y no fisiológicos y se refiere a la conciencia narrativa cuyos mecanismos de presentación son la situación narrativa y el punto de vista (Cohn, 1978: vi).

Como punto de partida, la autora aclara la diferencia que, según ella, existe entre el habla y el pensamiento de la ficción. El primero es un acto verbal, exterior y observable, mientras que el segundo es un acto interior y privado, pero también verbal. El pensamiento, entonces, puede ser expresado por medio de un monólogo interior²² el

²² En su trabajo Cohn (1978) aclara que según el canon posjoyceano, se suponía que el monólogo interior no había existido antes de *Ulises*, con la notable excepción de la novela *Han cortado los laureles* (1887) de Dujardin. Para poder tratar las citas del pensamiento directo en las novelas como *El rojo y el negro* o *Crimen y castigo*, los críticos aceptaron las tesis desarrolladas por Dujardin y trazaron una línea divisoria entre las citas de la mente que se encuentran en las novelas de